

Выражение лица у Катенина на сохранившихся изображениях такое, с каким говорят: да вы наглец, милейший.

Семь боевых наград. Лоб высокий, щегольские усы. Глаза большие, с наглейкой. Он вас, безусловно, застрелит, если вы не правы. Бегите.

...хотя, постойте, мы еще не рассказали о Катенине.

На самом деле — маленький, но очень стройный; самолюбивый и самоуверенный; с диктаторскими замашками: эдакий коломенский Наполеон.

Впрочем, за Наполеона он бы рассердился: он с ним воевал и делал это отлично.

В большом стихотворении Катенина «Мир поэта» сменяют друг друга картины ветхозаветные, античные, древнегреческие, и в течение времен впадает русская история...

*Лишь зацветут поля весной
И труб раздастся рев,
Уже в них дух кипит войною,
И каждый агнец вышел лев.*

.....

*За ними на крылах дух устремился мой.
Какие подвиги, удары, смерти, раны!..
Какие страшные собрались предо мной,
Подобно грезам сна, живые великаны!..
Неужли сон мысль оковал мою?*

Нет, нет, в лицо их узнаю:

*Вот мавров молот Карл, Европы всей спаситель;
Вот Кампеадор Сид, отцовской чести мститель;
Вот веры щит Гофред; вот сердцем лев — Ричард;
Вот страха и упрек не знающий Баярд;*

*И наши, вот они: и Святослав великий,
Царьградских кесарей соперник полудикий;
И половцев гроза и страх,
Краса владык, венчаный Мономах,
И два Мстислава, честь России,
Два храбрые, столпы святой Софии;
И Невский, и Донской!..
Я вижу, движется их строй,
Их очи смотрят, грудь их дышит...
Промолвите, герои древних лет!
Да глас ваш жадный слух услышит;
Хочу рукой моей коснуться вас... Ах! нет!
Нет их! нет никого! мечта воображенья
Мой обманула взор: зарытые землей,
Для них нет боле пробужденья.
Один, в тиши ночного бденья,
Я здесь с душой, смущенной от скорбей!
Вокруг меня зари свет слабый льется;
Лицо горит, мрет голос, сердце бьется,
И слезы каплют из очей.*

Здесь слышна великая печаль об исходе героев; впрочем, при жизни он не раз мог убедиться, что герои оживают, а времена — повторяются.

Катенина трудно не полюбить за «Инвалида Горева» — тут уже не ода, оглушающая звоном кимвалов, не песнь героическая, а быль, которая честь составила бы и Пушкину. По сути, перед нами — отличная ритмическая проза, правдивая, мудрым голосом читаемая, трогающая сердце безо всяких ссылок на то, что ей двести лет.

*Горев сражался, покуда ноги держали:
Рана в плече от осколка гранаты; другая
Пулей в ляжку; пикой в левую руку
Третья; в голову саблей четвертая; с нею
Замертво пал. Разъезд неприятельский утром
Поднял, а лекарь вылечил. Пленных погнали
Всех во Францию. Минул год с половиной;
Мир заключили, вечный, до будущей ссоры.
С миром размен; и многих оттоль восвоися
Русских услали. Забыли о бедном Макаре!
Беден всяк вдали от родины милой;
Горек хлеб, кисло вино на чужбине:
Век живи, не услышишь русского слова!
В Бресте дали им волю кормиться работой.
Русскому только и надо; и трое французов
С ним не потянутся; наш увидит чужое —
Сметит и миг переймет; они же, Бог с ними:
Смотрят на наше, да руки врознь, а не сладят!
В теплом краю от стужи дрогнут всю зиму;
Жгут в очагах, дрова переводят, а печи
Нет догадки сложить!.. Премудрые люди!
Тем да сем промышляя, нажился Горев;
Выучил ихний язык, принялся за грамоту, —
Нашу он знал, — и мог бы там поселиться.
Дом завести и жену: позволяли и денег
Дали б казенных на первый завод; но Макару
Тошно навек от святой Руси отказаться,
Некрестей в свет народить с женой беззаконной.
Думает: «Вырос ли Федя, мой парень отменный?»
Тужит: «Жива ли красавица Мавра Петровна?»*

Здесь все зримо, все оживает. А как этот Катенин слышит живую речь! Тогда никто так не умел еще, а он уже мог...

Ну ладно, потом договорим; пора к автору обратиться.

Павел Александрович Катенин родился 11 декабря 1792 года — родовое поместье Шаево, Кологривский уезд, Костромская губерния.

Семья — обеспеченная, старинная.

Сын генерал-майора — боевого генерала суворовской школы. Тогда еще у военных рождались дети, способные писать стихи и увлеченные этим.

По матери — внук директора Сухопутного кадетского корпуса А. Я. Пурпура. Если смотреть глубже, по материнской линии имела турецкая кровь: отсюда смуглость лица у Катенина.

Домашнее образование он получил отличное, на редчайшем и по тем временам, и по нынешним уровню.

Когда в 1806 году Катенин приехал в Петербург служить чиновником в Министерстве народного просвещения, он уже владел французским, знал латынь, худо-бедно понимал по-немецки, по-итальянски, по-английски и был неплохо знаком с греческим. В ту

пору ему было... 14 лет. Вскоре всеми этими языками он овладеет вполне.

Сослуживцами Катенина были поэты Гнедич и, некое время, Батюшков.

С 1809 года Катенин, как многие из русских поэтов, переводит и переписывает на свой лад что-то из Вергилия, что-то из Вийона, что-то из Осиана. Вскоре начинает публиковаться в печати.

С марта 1810-го — на военной службе: определился портупей-прапорщиком в Преображенский полк: лейб-гвардейское формирование Императорской армии, созданное еще Петром Великим, который сам числился полковником полка. Теперь темно-зеленый мундир Преображенского полка любил носить император Александр I.

Преображенцами были в свое время Гаврила Державин и Николай Карамзин.

К приходу Катенина там уже служил к тому моменту другой поэт — легендарный Сергей Марин, автор слов для песни, сочиненной еще в 1805 году и ставшей к тому общевойсковой: «Пойдем, братцы, за границу / Бить отечества врагов».

Эти задорные слова были камертоном для преображенцев. Врагов дома ждать не след. Если они за границей — можно сразу к ним.

В 1811-м — Катенину 19 лет — на петербургской сцене ставят переведенную им трагедию Тома Корнеля «Ариадна». (Помните, в «Евгении Онегине»: «Там наш Катенин воскресил / Корнеля гений величавый...»).

Батюшков (всего на три года старше) интересовался: «Как там наш маленький Катенин? Он с большим дарованием».

Перед самой войной умирает его невеста. Потрясение было сильнейшим (никогда не женится после и детей не заведет).

В стихах Катенина будет об этом сказано:

*Певец Услад душе покою
Искал в войне,
А враг тогда грозил войною
Его стране.
Певец Услад на поле битвы
Не изнемог:
Так, зная, друзей его молитвы
Услышал Бог.*

Но это в стихах.

В суровой и прозаической жизни все это обстояло не менее любопытно и грозно.

Катенин был пехотинец.

Романтическое воображение куда чаще предоставляет нам разнообразную конницу, когда мы задумываемся о воинах той поры — гусаров, улан, драгунов. Но вот что писала «кавалерист-девица» Н. А. Дурова: «Вот

идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша! Главная защита, сильный оплот Отечества! Это герои, несущие смерть неизбежную! Кавалерист наскочет, ускачет, ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда; но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю: это все только предвестники смерти! Но строй пехоты — смерть! Страшная неизбежная смерть!»

Принц Евгений Вюртембергский, командовавший русской пехотой, утверждал: «Я имел довольно случаев ознакомиться с русским войском, и достоинства, которые приписывают ему, не преувеличены. Русский рекрут обыкновенно терпелив, очень понятлив и легче с своей новою неизбежною участью, нежели сколько бы того можно было ожидать во всякой другой земле... Офицеры вообще очень храбры; исключения тому я видел в весьма немногих случаях: трусу мудрено удержаться между товарищами, и, может быть, от этого все почти известные мне фронтовые офицеры смелы, даже чересчур отважны...»

«Наставления господам пехотным офицерам...» российской армии предлагали трусливых солдат расстреливать прямо во время сражения «без потери во времени».

Уставы не лукаво говорили пехотинцам, что сражаться надо насмерть, а если пришла пора неминуемая — «так и умри». Все было очень честно.

«Между... офицеров излишеством почитается упомянуть о необходимых качествах неустрашимости, — гласило «Наставление...», — ибо ежели дух храбрости есть отличительный знак всего русского народа, то в дворянстве оный сопряжен с святейшим долгом показать прочим всегда первый пример как неустрашимости, так и терпения в трудах и повиновения к начальству... Вообще к духу смелости и отваги надо непременно стараться присоединить ту твердость в продолжительных опасностях и непоколебимость, которая есть печать человека, рожденного для войны».

Приказ П. И. Багратиона от 25 июня гласил: «Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, мы ж русские и единовверные. Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пули мимо. Подойди к нему — он побежит. Пехота, коли».

Боевое крещение Катенин принял на Бородинском поле.

Преображенский полк стоял на второй линии обороны батареи Раевского.

Грохот был невообразимый: французы бомбили батарею из 120 орудий сразу.

Преображенцы теряли людей, несмотря на то, что находились в резерве: неприятельская артиллерия доставала до них. От артиллерийского огня было в несколько часов убито 26, ранено 125 человек преображенцев.

Характерно, что пехоте было, как правило, запреще-

но «кланяться ядрам», то есть, слыша свист летящего ядра, солдаты должны были держать строй, не двигаться и спокойно глядя в небо, ожидая смерть.

Документы гласили: «Иногда полк под ядрами хотя сам и не действует, но смелым и устроением тут пребыванием великую пользу всей армии приносит».

Впрочем, в день Бородинского сражения для одного из пехотных полков, стоявших неподалеку от преображенцев, но на первой линии батареи Раевского, было сделано исключение. А. Х. Граббе вспоминал: «По выдвинутой углом нашей позиции огонь неприятеля был перекрестный, и действие его истребительно. Несмотря на то, пехота наша в грозном устройстве стояла по обе стороны Раевского батареи, Ермолов послал меня сказать пехоте, что она может лечь для уменьшения действия огня. Все оставались стоя и смыкались, когда вырывало ряды. Ни хвастовства, ни робости не было. Умирили молча. Когда я отдавал приказание Ермолова одному батальонному командиру, верхом стоявшему перед батальоном, он, чтобы лучше выслушать, наклонил ко мне голову. Налетевшее ядро размозжило ее и обрызгало меня его кровью и мозгом».

Французская конница несколько раз выходила в тылы преображенцам; ее отражали ружейным огнем; доскакавших к строю кололи штыками.

Французы описывали происходящее на самой батарее так: «Редут был похож на настоящий огнедышащий кратер; здесь и там лежали целые горы трупов; на полуразрушенных брустверах были разбиты все бойницы, и при вспышках выстрелов можно было различить только одни жерла пушек; однако большая часть орудий уже была опрокинута или сброшена с разбитых лафетов».

К трем часам дня, после чудовишной мясорубки, французы взяли батарею Раевского. (Подсчитано, что свыше трети всего количества убитых и раненых французов в Бородинском сражении — погибло здесь).

Вскоре после этого начались атаки французской кавалерии на центр русской позиции: здесь вновь в короткое дело пришлось вступить преображенцам: барабанный бой, залп, короткая штыковая...

Ближе к вечеру на этих позициях явился Наполеон, решая, вводить ли в бой гвардию. Тогда бы Преображенский полк, где служил Катенин, рисковал столкнуться лицом к лицу с лучшими воинами в мире. Но Наполеон не рискнул вдали от Франции ставить на кон свой последний резерв.

С наступлением темноты французы отошли. В течение ночи русские вновь заняли позиции на батарее Раевского.

Сражение закончилось.

Дальше предстояли долгие походы.

В «Инвалиде Гореве» имеются отличные зарисовки воинской службы, сделанные рукой Катенина:

*...Бывало,
Холод, грязь, сухарей ни крошки, а весел:
Люди с тобой! Угольком на биваке закуришь
Трубку — соси да болтай, и голод не пикнет;
Перевязь чистишь, суму, ружье — и не скучно.
Черные дни втерпеж, а мало ли красных?*

Какая все-таки здесь русская, жизнеутверждающая интонация слышна.

Преображенцев в кампанию 1812-го берегли: после того как Наполеон оставил Москву, они вместе со всей армией шли по следам неприятеля, но в крупных сражениях не участвовали.

Черед их наступит уже в европейском походе.

Хроника действий Преображенского полка в ту войну следующая (по старому стилю):

16 декабря 1812 года командиром лейб-гвардии Преображенского полка назначен генерал-майор барон Григорий Владимирович Розен.

1 января 1813 года полк в составе колонны генерала Тормасова в Высочайшем присутствии перешел реку Неман.

12 февраля расположился на квартирах у Калиша.

21 марта участвовал в параде войск в присутствии императора Александра I и короля Прусского Фридриха Вильгельма III.

В апреле преображенцы в составе войск гвардии торжественно вступили в Дрезден (заметим, что это был третий парад в Дрездене: сначала там покрасовался русский поэт Давыдов со своим отрядом, потом русский поэт Глинка в составе авангарда Милорадовича, а теперь вот пришла пора Катенину пройтись).

А следом начались бои.

Катенин участвовал в Люценском сражении (2 мая 1813-го) — после которого русской армии и союзникам пришлось отступить к Бауцену, где 8 и 9-го мая состоялось новое сражение, тоже не приведшее к определенной победе ни одной из сторон.

Важнейшим испытанием в своей жизни Катенин считал участие в сражении под Кульмом в последние дни августа 1813-го.

Незадолго до Кульма, 14–15 августа, Наполеон нанес поражение союзникам — так называемой Богемской армии — под Дрезденом.

В состав Богемской армии (более 230 тысяч человек и 670 орудий) под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга входила русско-прусская армия (120 тысяч человек и 400 орудий) под началом Барклая-де-Толли. При армии находился и так же отдавал стратегического толка распоряжения император Александр I.

Вся эта армада, жестоко пострадавшая от военного

гения Наполеона, начала отходить в Богемию по единственной дороге.

Наполеон отправил тогда сорокатысячный корпус генерала Вандама с целью отрезать главную армию от Теплицкого шоссе.

Наполеон говорил про Вандама, что если б пришлось воевать в аду — то именно он взял бы дьявола в плен. Впрочем, он еще был слишком известен как мародер — и по его же поводу Наполеон сказал как-то, что если б у него было два Вандама, одного он бы расстрелял.

Сводному отряду (семнадцать с половиной тысяч человек) под командованием генерала от инфантерии Александра Ивановича Остермана-Толстого нужно было остановить Вандама или, говоря проще, жертвуй собой, спаси главную армию.

Едва ли не основной боевой силой этих 17,5 тысячи — были как раз Преображенский и Семеновский полки.

Писатель Иван Лажечников, сам участник европейского похода, в своих «Походных записках русского офицера» писал: «И многочисленность врагов, и мужество их, многократными боями неутомленное, и самонадеянность их полководца (Вандама), и защита их самой природой, против нас вооружившейся и стеснившей нашу малую рать между своими грозными утесами: все, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы Севера не считают врагов...»

28 августа произошел кровопролитнейший бой у Гисгюбеля.

Когда граф Остерман-Толстой с войсками (далее цитируем исторические документы) «прошел безвредно до Гисгюбеле и вступил в дефиле», то французы преградили ему дорогу.

Здесь в дело вступил Преображенский полк — и показал себя так, как не было возможности показать весь 1812-й.

Преображенцы пошли на неприятеля в штыковую.

Наверное, стоит во всей полноте осознать, что это такое.

Штыковой бой — сочетание напора, исключительной храбрости и смертельной решительности; крайнее нервное возбуждение, переходящее в кровавое остервенение. Но при этом любые из названных ощущений должны способствовать, а не вредить безупречному сочетанию глазомера, силы и мускульной памяти о навыках.

Смысл штыковой атаки — один, и он прост. Надо резать человека. Еще когда бежишь навстречу противнику, ты выбираешь себе жертву. И никакая сила не может отменить твоего решения сделать свое дело — убить.

В штыковой атаке учили убивать всех — бегущих прочь, вставших на месте, присевших, пытающихся лечь. В этом было основное ее назначение.

Сближаешься, посылаешь ружье вперед, наносишь —

с выпадом левой ногой — страшный и стремительный укол в открытое место, и тут же выдерживаешь штык, времени у тебя нет; никакого проворачивания, взглядывания в глаза, раскаяния и тому подобного.

Скорость и беспощадность.

Но это если противник открылся. Если он закрыт, то делаешь ложный выпад, и когда противник на него отвечает, бьешь туда, где он открылся.

Военный опыт гласил: если ты не успел первым нанести удар штыком в доли — именно в доли! — секунды, в следующий миг ты сам будешь ранен или убит.

Но это если ты выбрал себе в жертву одного противника. А если в жертву тебя самого выбрали двое? Как тогда?!

Тогда учили менять положение так, чтоб оказаться лицом к лицу только с одним из них и колоть их по одному.

При этом штыковая атака не должна была превращаться в свальную резню: надо еще и видеть товарища, офицера, слышать барабан.

И всем этим занимается человек, совсем недавно переводивший «Ариадну» Тома Корнеля...

О той схватке Остерман-Толстой сказал, что «никогда не видал столь блистательной атаки». А он был легендарный генерал, отвоевал уже многие годы и повидал многое.

Преображенцам, скупо сообщают историки, пришлось «буквально продираться сквозь неприятеля».

И продрались.

На следующие сутки русские войска стали на позиции за Кульмом, у деревни Пристен. Задача русских оставалась прежней: дать главной армии сойти с гор и встать у Теплица. Задача французов оставалась прежней: помешать русским во что бы то ни стало. У Вандама было, напомним, двукратное превосходство. (Справедливости ради заметим, что он не смог использовать его в полной мере).

29 августа началось сражение. Предоставим слово историку Н. А. Могилевскому: «Русские и французские стрелки, ведя частый огонь, не раз сходились на полянах в штыки. Офицеры бились в первых рядах, увлекая своим примером солдат. Гвардейцы совершали чудеса...»

Видите невысокого, но бешеного, с надменным лицом Катенина в этом грохоте и чаду?

«Вандам не мог не понимать, что грохот битвы может привлечь внимание основной союзной армии, а потому он спешил. К трем часам пополудни он бросил в последнюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то ни стало пробить оборону Остермана между левым крылом и центром. Наступил критический момент».

Французы атаквали, русские контратаковали и выбили их.

К вечеру начали подходить основные российские силы.

В течение дня преображенцы потеряли 551 человека убитыми: их проредили почти на треть! Противник, как ни прискорбно, ходить в штыковую тоже умел, но русские все равно оказались сильнее, даже будучи изначально в меньшинстве.

Стоит подумать, с каким чувством, с каким красным, дымящимся водоворотом в глазах Катенин и все его товарищи ложились спать в ту ночь: все заляпанные братской и вражеской, а то и своей кровью, потерявшие за день несусветное число товарищей — больше, чем с самого начала войны; в ушах вопли, выстрелы, разрывы...

А на следующий день сражение было продолжено.

Преображенцы уже не выполняли основную боевую работу, но и стрелять, и нагонять, достреливать и добивать бегущего противника — пришлось.

Ударами с трех сторон корпус Вандама был разбит.

Сам Вандам, его начальник штаба, два других генерала и 13 тысяч рядовых попали в плен.

Значение той битвы надо понимать: прусский король, фактически спасенный в те дни и лично наблюдавший жертвенное мужество русских гвардейцев, пожаловал высшую свою награду всем участникам битвы — Железный крест.

Сразу после сражения кресты были вырезаны и выкованы из кожи и железа конского снаряжения, отбитого у французов. Годом позже Железный крест был переименован в Кульмский крест. Через три года в Петербург прислали тем офицерам, что выжили, Кульмские кресты, сделанные уже на совесть: серебряные, покрытые черным лаком...

*...в Кульме, малым великое дело
Делалось, к диву военных, к спасению мирных.
Царь хвалил, чужие сказали спасибо:
Лестно было назваться воином русским... —*

это из «Инвалида Горева», все так!

«Гордись, Россия! — писал Иван Лажечников. — Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, указывать на родину леонидов и сципионов: ты перенесла ее с этими героями на священную твою землю. Потомство твое, при новых непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали как спартанцы под Фермопилами! Нет! Сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские под Кульмом»...

Под Лейпцигом, 4 — 7 октября 1813-го, в «битве народов» Преображенский полк находился в резерве саревича.

Наполеон потерпел там поражение, но до Парижа оставались еще многие месяцы переходов, перемирий – и армейской жизни, и новых переходов.

Нахождение русских в Париже, все эти «казаки на Монмартре» и «быстро, быстро накорми нас, хозяин!» – в сознании многих затмили цену, заплаченную за ту победу.

Между тем битва за Париж, в которой участвовали и преображенцы, была кровопролитной: атаковали город в лоб, в предместьях шли жуткие бои, с перестрелками в упор, новыми штыковыми. Били из окон – врывались в дома, дрались на лестницах, на кухнях, летели сковороды и черепки, все вверх дном. Некоторые районы несколько раз переходили из рук в руки...

Потери союзной армии составили 8400 человек, из них – 6000 русских; так не раз случалось, что за общий триумф самую большую цену платим мы.

19 марта (по старому стилю) все было кончено.

В город входили так: через арку в Сен-Дени въехал эскадрон казаков, затем император российский Александр I, прусский король, главнокомандующие, свита, конвой. Следом – Преображенский полк, – ибо все осознавали, какое чудо свершилось под Кульмом.

Можно увидеть, если взглядеться, как шествуют преображенцы, еще раз рассмотреть 21-летнего Катенина...

Вослед за ними шли уже австрийцы и пруссаки – знали свое место.

«...последовала команда: «Смирно; дирекция налево», – пишет современник, – Император подъехал к левому флангу. На царское: «Здорово, ребята!» грянуло громкое «ура!», подвигавшееся по мере приближения Императора. Объехав полки, Государь скомандовал: «К церемониальному маршу, повзводно, скорым шагом марш!» Барабаны забили, и музыка заиграла. Конвой заскакал вперед; Государь и свита тронулись за ним... Погода была великолепная и теплая. На улицах народу было бесчисленное множество; все окна и балконы заняты были жителями с флагами и цветами. Торжество было во всей силе слова. Долго шли мы по улицам, потому что шли повзводно на взводную дистанцию до самой площади Louis XV – между Тюльрийским садом и Champs-Elisees, где Император остановился со свитой, пропуская шедший церемониальным маршем войска. Поровнявшись с Государем, войска заходили повзводно левым плечом в аллею Елисейских полей».

Далеко не уходя, возле Елисейских полей, преображенцы и расположились на биваках. Порядочно пообедали в близлежащих ресторанах.

...и вот парижская жизнь.

«Французы вообще не имели никакого понятия о России, – пишет в своих записках другой гвардеец – прапорщик Иван Казаков, – они по невежеству счи-

тали ее страной дикой, варварской; ничто их так не удивляло, как то, что много русских говорили по-французски. Когда мы проходили через город парадом, слышали, как французы говорили, что будто у всех нас кирасы под мундирами, так их удивляла выправка каждого солдата... и когда приходилось останавливаться, чтобы взять взводную дистанцию, то расстегивали мундиры, чтобы уверить их в отсутствии кирас. В Париже в то время осталась только первая гвардейская дивизия, в которой вряд ли был тогда какой-либо офицер, не знавший французского языка. И французы вообще от высшего общества до крестьян – полюбили русских. Французские солдаты были очень дружны с русскими, но в противоположность с последними – с пруссаками и австрийцами были все на ножах».

«Французские дамы, – продолжает Казаков, – явно оказывали предпочтение русским офицерам перед наполеоновскими и про последних говорили вслух, qu'ils sentent la caserne (что они отдают казармой. – Прим. З. П.); и действительно, мне случалось видеть, как большая часть из них входит в кивере или в каске в комнату, где сидят дамы, говорят, прикладывая руку к козырьку: «Bonjour la compagnie; j'ai l'honneur de vous saluer» (Здорово, компания, честь имею кланяться. – Прим. З. П.) и начинают отстегивать свою саблю».

«Красавиц видел чернооких / И не любил», – признается Павел Катенин («Певец Услад», 1817).

Театр волнует его, пожалуй, больше: в Париже он видит всех самых именитых актеров того времени: Тальма, Дюшенуа, Потье, Марс, Брюне – и даже заводит с некоторыми дружбу. Видимо, там Катенин получил навыки театральной игры: современники помнят, что сам он отлично декламировал и, более того, мог преподавать актерское мастерство.

Удивительное качество: потерявшие сотни товарищей в боях, помнящие сожженные русские города и сущие зверства, что творили французы, гвардейские офицеры не чувствуют отторжения по отношению к нации недавних своих врагов; но, напротив, готовы учиться у них.

Два месяца проведет Катенин во французской столице. Летом 1814 года Преображенский полк возвращен в Россию морским путем – на кораблях Российской военной флотилии.

30 июля 1814 года преображенцы торжественно вступили в Петербург через Триумфальные ворота.

Вернувшись в Россию, Катенин возобновляет оставленную на два года литературную карьеру; публикует весьма мрачного толка баллады: «Наташа», «Леший», «Убийца».

Весьма бесхитростно, но вместе с тем замечательно ясно выказывает свое патриотическое чувство Катенин в балладе «Наташа» (1814), где:

***Вдруг поднялся враг войною
Русь заграбить и зажечь;
Всюду льется кровь рекою,
Всюду блещет огонь и меч...***

Героиня говорит любимому:

***Не мое девичье дело,
Милый друг, тебя учить;
Не прогневайся, что смело,
Может, стану говорить;
Но прости мне укоризну:
Не сражаться за отчизну,
Одному отстать от всех —
Русским, нам, и стыд, и грех.***

На что он отвечает:

Рад, что мысли в нас одне.

Литературный критик Александр Казинцев удачно подметил, что в «Убийце» Катенин вдруг находит ту интонацию, на которой вскоре будет написана лучшая русская проза:

***...То было летом,
Вот помню, как теперь,
Незадолго перед рассветом;
Стояла настезь дверь.
Вошел я в избу, на полати
Спал старый крепким сном.***

А и правда. Если переписать в строку — так мог начинаться рассказ Пушкина или глава из прозы Лермонтова. Здесь уже видна та вроде бы бесхитростная, сухая и вместе с тем суровой ниткой прошитая точность, которая неизбежно подкупает в русской классике.

Между прочим, в «Убийце» Катенин называет месяц «плешивым» — подобные сравнения начнут позволять себе только веком позже. Пушкин с легкой издевкою пишет, что «читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхотались и почли балладу ниже всякой критики». Баллада действительно не безупречна, но точно не из-за плешивого месяца.

Для Катенина было свойственно демонстративное экспериментаторство; он вовлекал в поэзию и архаизмы, и прозаизмы: именно поэтому Катенин вошел в круг Александра Семеновича Шишкова, одного из литературных законодателей той поры, противника галломании.

С карамзинистами — оппонентами Шишкова — Катенин вступил в долгий спор. Как поэты, Жуковский, Батюшков, Вяземский были одареннее Катенина. Но,

выступая против всевозможных условностей, вовлекая не всегда сообразно смыслу и музыкальности в поэзию вещества разнородные, Катенин шел в направлении верном.

Грибоедов, заступаясь за Катенина перед современниками, остроумно подметил: «Бог с ними, с мечтаниями, ныне в какую книжку не заглянешь, что ни прочитаешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос».

Кс. Полевой позже писал про Катенина: «...в эпоху безусловного преобладания чужеземных идей и форм в нашей поэзии, обнаруживал уже особенное предрасположение к народности, сделавшейся теперь общею потребностью всех биений литературной жизни».

О том же говорил и прекрасный поэт Николай Языков: «Правда, что у него везде слог топорной работы, зато много национального и есть кое-где сила — в этом главное!»

Современник — Ф. Ф. Вигель — описывал Катенина так: «Круглолицый, полношекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке». В числе прочего он подмечал у Катенина «неистощимую хулу к писателям...» (эта черта характера еще аукнется нашему герою) — «...ни одному из них не было от него пошады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первой его жертвой».

А какой к тому же был спорщик — неутомимый.

Катенину в этом деле, вспоминает Вигель, «много помогли твердая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием».

«Никому не хотел нравиться, а всех поражать» — о, это отличная рекомендация.

И далее: «Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал».

Катенин признавался, что готов простить, если его назовут мерзавцем или плутом, но, столкнувшись с неприятием собственных сочинений, готов немедленно драться насмерть.

(«Это я дурной поэт? Я тебе сейчас голову прострелю, дурак!»)

Признаемся, что это не самая обнадеживающая черта для литератора. Но Катенину такой характер не помешал написать как минимум один шедевр и стать заметнейшим литератором своей эпохи; хотя, быть может, стать чем-то большим — помешал.

Впрочем, когда в 1816 году Александр Бестужев под псевдонимом Марлинский желчно раскритиковал Катенинский перевод «Эсфири» Расина («...сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла... сжальтесь над бедным славянским языком; сами татары так не

колесовали его»), и пошли уже толки о возможной дуэли, Катенин до этого доводить не стал: в разговорном запале можно пообещать что угодно, но нелепо было бы убивать человека из-за критической статьи. Ужасно обидевшись на Бестужева, Катенин на этот раз выберет другую реакцию: последовательно и брезгливо молчать.

И, отдадим должное, иногда это действенной.

Характеризующий Катенина случай. В мае 1816-го, после представления во дворце «Эсфири» Расина в переводе Катенина — в присутствии Александра I — Катенин был приглашен «к Высочайшему столу». Вел себя при этом безо всякого подобострастия, скорей, отстраненно. Разговоров, помимо обмена положенными ситуациями восклицаниями, фактически не вел.

Как сам после напишет:

***Верно бы царь наградил его даром богатым,
Если б Евдор попросил; но просьб он чуждался.***

Государь, верно, подумал: какой скромный юноша. Нет, дело в другом.

Из зарубежного похода Катенин вернулся, как и тысячи других офицеров, с настроением вольнодумным и острокритическим. Государь вызывал у него чувства противоречивые, если не сказать хуже.

В том же, 1816-м, году Катенин получает звание штабс-капитана и становится членом Союза спасения — первого тайного общества, положившее начало движению будущих декабристов.

Во второй половине 1817-го, во время пребывания войск гвардии в Москве, Катенин возглавил одну из двух «управ», объединивших членов тайного общества, находящихся в походе.

В Москве в конце 1817-го заговорщики уже обсуждали проект царубийства. Литературовед Вл. Орлов сопоставил два любопытных факта. Декабрист И. Д. Якушкин на встрече заговорщиков вызвался зарезать императора во время торжественного богослужения в Успенском соборе. Но в написанных примерно в то же время Катениным стихах «Рассказ Цинны» (весьма вольный перевод из Корнеля) речь идет о том же способе убийства тирана:

***Искать ли случая? но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов
И сам падет от нас на жертву принесенный
Пред вечным судьей спасению вселенной...***

Более того, говорит Орлов, строка в этом стихотворении — «Сын кровью каплющий убитого отца...» — является безусловным намеком на то, что Александр был замешан в убийстве своего отца Павла I.

Судьба готовила храброго и заносчивого Катенина к тому, чтоб его убили на Сенатской, или отправили в Сибирь, или повесили.

В 1817 году Катенин напишет:

***Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами!
Ах! лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас.***

Черновик, естественно, сжег, но прочел одному-другому это сочинение, и — ушло в люди.

Декабристы это пели хором. Он сам тоже некоторое время пел; а потом раздумал. Не разом, но постепенно.

После преобразования Союза спасения в Союз благоденствия, уставом которого, к слову сказать, отвергалось насилие и царубийство, Катенин из тайного общества вышел. Было даже предположение, что уход состоялся из-за несогласия с отказом казнить императора, а позже это предположение вдруг стали выдавать за факт.

Но никакого отношения к действительности эти догадки не имеют.

Тут, предположим мы в свою очередь, имело место что-то личное: Катенина, во-первых, литература привлекала куда больше, по письмам его видно, что театром и поэзией он увлечен маниакально и ни о чем больше говорить не желает, литературные ставки свои считая самыми высокими; а, во-вторых, он был едок и временами спесив — ему могло любой раздражающей в декабристском сообществе мелочи хватить, чтоб разорвать с заговорщиками сношения.

С другой стороны, вольнодумные стихи Катенин писать не перестал и, по некоторым наблюдениям, до какой-то поры вел в этом смысле негласное соревнование с Пушкиным.

Но возглавлять он предпочел другие общества — словесные.

В том же, 1817-м, году Катенин становится главой группы молодых литераторов, в которую входили: его ближайший друг Грибоедов, критики Д. П. Зыков и Н. Н. Бахтин, позже к ним примкнул поэт Вильгельм Кюхельбекер.

Полевой скажет об этой группе, что они хотели делать литературу «из родного мира, из уцелевших памятников русского духа, из стихий русского быта».

Катенин пишет совместную с Грибоедовым, с которым уже два года как были знакомы, комедию «Сту-

денту» (1817) — действительно остроумную вещь, пародирующую в числе прочих Жуковского и Батюшкова.

Исследователи склоняются к тому, что сочинил ее в основном Грибоедов. Строй речи комедии заставляет с этим, скорей, согласиться: слишком она стремительная и остроумная для тяжеловесного Катенина. (Спустя несколько лет он скажет про «Горе от ума»: «...слог часто прелестный, но сочинитель слишком доволен своими вольностями: так писать легче, но лучше ли, чем хорошими александринскими стихами? вряд» — ну, вы поняли).

Однако некоторые места в комедии явно если не его рукой писаны, то им проговорены Грибоедову: к примеру, пассажи о безграмотности современных словесников, не выучивших даже правописания (это был пункт Катенина: ловить собратьев по ремеслу на речевых ошибках; черта, впрочем, свойственная чаще всего людям хоть и образованным, но литературно одаренным не в полной мере).

Согласно сюжету комедии в Санкт-Петербург приезжает казанский студент Беневольский, напыщенный болван, обуреваемый многими планами, рассуждающий о том, как ему встретятся «стихотворцы, которые уже стяжали громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов»; он к ним будет писать послания, они к нему, а вместе они будут «хвалить друг друга. О, бесподобно!»

Мрачный катенинский скепсис тут очевиден: взаимное хвалебное опыление, особенно когда оно не касалось Катенина, он не переносил на дух.

И сколько здесь было жесткой наблюдательности и сколько зависти, гадать не станем.

Лучше взять другой пример. В 1818 году Катенин сближается с молодым Пушкиным.

Пушкин явился к нему на встречу с тростью и сказал, ее подавая: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи».

Другой бы возгордился, сказал: ну что ж, сын, слушай (Катенин был старше его на семь лет, но и на целую, в два года длинной, войну).

Казалось бы, что-то подобное от Катенина возможно было ожидать, но он лишь усмехнулся: «Ученого учить — портить». Пушкину было 19 лет: дар его Катенину уже был очевиден.

«Руслана и Людмилу» Пушкин писал под воздействием Катенина. Карамзинисты ничегошеньки в этой поэме не поняли: насадил, мол, Сашка, свои русские лопухи тут. В кружке Катенина, напротив, именно народность и увидели и оценили.

На какое-то время Пушкин в смысле творческом оказался к Катенину ближе, чем к своим ближайшим и старшим товарищам: от Жуковского до Вяземского.

Предположим, что отмеченная еще Тьняновым борьба «за русскую балладу», которую вел «Катенин против баллады Жуковского с иностранным материалом», катенинская работа с метрикой, а также его интерес к русскому фольклору показали Пушкину понятны и близки.

Тьнянов убедительно доказывал, что Пушкин, в отличие от всех своих современников, разглядел в Катенине «преднекрасовское» (широкое использование народной, грубой, просторечной, «демократической» лексики): то, чего тогда не было ни у кого.

...в 1818 году Катенин получает звание капитана.

В середине года он возвращается в Петербург и занимается с тех пор в основном театром. Трагедии, комедии, переводы, Корнель, Лонжпьер, время от времени всякие революционные шпильки, но — никаких заговоров.

Важный момент: Вл. Орлов заметил, что в «Эсфири» Расин намекает на военные успехи Людовика XIV, а Катенин, в свою очередь, переводит Расина так, что речь уже идет о победе над Наполеоном:

*Хотя б столь мног был враг числом,
Сколь мног песок на дне морском,
Хотя б как звезды искрометны,
Их были полчища несметны, —
Падут наденьем их толпы
Тебе, Царь славы, под стопы.
И в бегстве не найдут спасенья,
И мраз, и глад им путь препнет,
И ангел божий, ангел мщенья
Мечом бегущих поженет.
И преисполнятся кладбища,
И будем псам, и птицам пища;
Теснились тьмой путей прийти
и не обрящут вспять пути...*

Мощнейшие стихи: нарастают как грохот камнепада.

В 1820 году в первом номере журнала «Сын отечества» публикуется большая историческая вещь Катенина «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке под предводительством князя Галицкого Мстислава Мстиславовича Храброго» (неотступный Бестужев-Марлинский сострит, что, судя по названию, русский князь был предводителем татар).

В «Песни...» насчитывается целых тринадцать стихотворных размеров: до сих пор так никто в русской поэзии не делал. Ю. М. Лотман отмечал умение Катенина «идти вне проторенных литературных дорог».

*Как ток реки,
Как хо`лмов цепь,
Врагов полки*

**Покрыли степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пра'щи — дождь,
Мечи — огонь.
Здесь мертвый вождь,
Здесь бранный конь,
Там воев ряд,
А там доспех:
Не может взгляд
Окинуть всех.
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли, —**

да это просто Багрицкий какой-то или Светлов; вся советская поэзия потом каталась на этой катенинской лихой ритмике.

Знаменательно и финальное двустипение в этой вещи:

**Пали на'земь лицом, и в слезах благодарных молили
Бога и спаса Христа и пречистую деву Марию.**

Неправильных, но остроумных рифм, подобных «молили — Марию», в русской литературе не будет еще примерно сто лет. Мы не найдем ничего подобного ни у Лермонтова, ни у Вяземского, ни у Тютчева. Начнется это, по большому счету, с Маяковского.

Катенин, кажется, даже и не рифмовал эти строки (дело в том, что предыдущие две строки в финальном фрагменте не срифмованы, хотя выше идет рифмованный стих), однако поэтическое чутье его и в этом смысле тоже вело туда, куда еще никто не ходил. Созвучие это он наверняка увидел — и осмысленно оставил, чтоб иметь возможность в ответ на претензию о дурной рифме сказать: а я и не рифмовал.

Кюхельбекер расхвалит «Песнь...» в статье «Взгляд на текущую словесность», но прав в конечном итоге окажется Пушкин, однажды сказавший: «...славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией».

До какого-то времени Катенин был куда больше учитель и учредитель литературного процесса, чем поэт.

Как критик Катенин стал одним из центральных персонажей той эпохи; и тут Пушкин его ценил более чем кого бы то ни было. Катенинские критические работы будут поражать каким-то аномальным знанием всего и обо всем в литературном европейском мире.

П. А. Каратыгин в своих воспоминаниях описывает Катенина: «Память его была изумительна. Положительно можно сказать, что не было всемирного историче-

ского факта, который бы он не мог цитировать со всеми подробностями; в хронологии он никогда не затруднялся; одним словом, это была живая энциклопедия».

И далее: «Катенин приводил наизусть целые цитаты из авторов и нередко переводил устно на русский язык читаемую им книгу так же чисто, отчетливо и правильно, как отличный пьянист исполняет любую музыкальную пьесу “с листа”».

В этом смысле (но только в этом) что-то есть в Катенине, роднящее его с Валерием Брюсовым (тоже учителем, умным критиком, поэтическим реформатором, интеллектуалом и полиглотом, но не поэтическим гением). Грибоедов говорил Катенину: «Тебе обязан я зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования». Пушкин впоследствии писал ему: «Многие (в том числе и я) — много тебе обязаны; ты отучал меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности».

Но в самом Катенине не хватало беспечности и ловкости для легкомысленной поэзии. Быть может, тут имело место своеобразное горе от ума.

...в 1820 году, в 28 лет, Катенин получает звание полковника. Военная карьера его развивается вполне удачно, до генерала было рукой подать, и вдруг — фиаско.

П. П. Каратыгин пишет: «Как командир Катенин, по человеческому обхождению с нижними чинами, был одним из отрядных исключений тогдашней аракчеевщины; как товарищ был искренне любим всеми сослуживцами...» — обратите внимание сколь отличалось его поведение по службе от поведения в литературных кругах; это делает Катенину честь; но читаем далее о нем: «...при всем том как подчиненный не умел ладить со своим высшим начальством, особенно в тех случаях, когда замечания по службе были несправедливы или неосновательны. Слишком благовоспитанный, чтобы позволить себе грубость при объяснениях с начальниками, Катенин возражал им вежливо, почтительно, мягко, но самую эту вежливость и мягкость приправлял таким выражением голоса, лица и взгляда, которое могло показаться дерзостью. Несчастный случай с Катениным, испортивший всю его служебную карьеру, был именно следующий.

Великий князь Михаил Павлович произвел внезапный смотр батальону, в котором находился Катенин. Со свойственным ему вниманием осматривая мундиры на солдатах, его высочество было неприятно поражено небольшою заплатою на рукаве у одного из рядовых или унтер-офицеров. Подозвав Катенина, великий князь показал ему на этот изъян на мундире солдата и сурово произнес:

— Это что? Дыра?

— Никак нет, ваше высочество, — почтительно отвечал Катенин, — это заплатка и именно затем, чтоб не

было дыры, которую ваше высочество заметить изволили».

За такое предерзостное поведение полковника, гвардейца, награжденного за храбрость орденом Св. Владимира 4-й степени и прусским крестом, тут же отправили в отставку.

Официальная мотивировка гласила о том, что Катенин был «...замеченный неоднократно с невыгодной стороны».

Из Санкт-Петербурга Катенин не уехал — еще два года там блистал, спорил и злился, что о нем совсем не говорит критика (забыв про то, что было написано в «Студенте», начнет пенять товарищам: хоть слово обо мне сказали б!). Называл литературных оппонентов «шайкой глупой», играл в любительских спектаклях, часто бывал за театральными кулисами, продолжал учить актеров искусству декламации, все больше терял значимость как сочинитель стихов, однако приобретал все больший вес в среде театралов. Продолжалось это до очередного, в духе Катенина, случая.

18 сентября 1822 года он устроил скандал в Большом театре. Артистка Азаревичева ему, видите ли, не понравилась (играла она действительно так себе, ей доверили тогда главную роль, в первый и последний раз; после она вернулась к ролям служанок, однако благодаря Катенину мы теперь знаем ее фамилию). Но задел он не столько даже Азаревичеву, сколько другую актрису — Катерину Семенову, знаменитость того времени, пользовавшуюся покровительством князя И. А. Гагарина (и вскоре вышедшей за него замуж). Она и так Катенина терпеть не могла за его, как современники писали, «злой язык», а тут еще из зала Катенин настойчиво выкрикивал не ее на вызов, а своего друга и ученика, актера В. А. Каратыгина, совсем недавно, между прочим, некоторое время просидевшего в Петропавловской крепости за громкий раздор с директором театра.

В общем — закрутилась карусель.

Александр I находился тогда за границей, но до него донесли о Катенине: «...подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном и заставлять актеров и актрис искать его покровительства».

Государь распорядился Катенина выслать, с запрещением «въезда в обе столицы без Высочайшего на то разрешения».

Приказ был получен 7 ноября утром, а в полдень Катенина уже вышибли прочь, даже собраться не дали.

Резкость, с которой была осуществлена высылка, говорит о том, что, помимо театрального скандала, было что-то еще, раздражавшее государя. Ведь даже в рапорте, составленном генерал-губурнатором Петербурга Михаилом Андреевичем Милорадовичем по поводу происшествия, ничего особенного нет: Милорадович признается государю, что сам присутствовал в момент показа спектакля, но на поведение Катенина

особенного внимания не обратил. (Хотя тот же Милорадович охарактеризовал высланного как «либерала», дурно влияющего на товарищей).

Есть резон предположить, что слухи о вольнодумных стихах, вышедших из-под руки Катенина, все-таки доходили до государя.

О том же самом речь идет в повести «Люди сороковых годов» Алексея Писемского. Там Катенин выведен под именем Александра Ивановича Коптина. Сопоставление реальных событий и написанного в романе о Коптине говорит о том, что перед нами не столько художественный вымысел, сколько художественная документалистика, точная в большинстве деталей. (Писемский с Катениным был знаком и дружен).

Причиной высылки Катенина в романе Писемского называется его декабристский «гимн».

В день высылки Катенину пришлось остановиться в кабачке на Петергофской дороге и оттуда уже, через товарищей и посыльных, распорядиться своим имуществом: надо было сдать городскую квартиру, продать экипажи, перевести библиотеку и вещи в свое имение.

Два с половиной года сидит Катенин в своей костромской усадьбе — как «филин в темном дупле своем», писал в письмах. Тридцать лет человеку, он полон сил, дописал трагедию «Андромаха» (начатую еще в 1808 году) — Пушкин скажет о «величавой простоте» ее; но публиковаться Катенину было нельзя, пока государь не простит его.

***К сельским трудам непривыкший, лирой любезной
Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе
славу, —***

так писал о себе Катенин; но про «сельские труды» стоит сказать отдельно.

В упомянутом романе Писемского о помещике Катенине написано: «...предобрый!.. Три теперь усадьбы у него прехлебороднейшие, а ни в одной из них зерна хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное все бедным раздает!»

Катенин-благотворитель не входит ни в какое противоречие с тем Катениным, что изысканно дерзил начальству, критиковал всех и вся в литературных кругах, издевался над актрисами и демонстрировал высокомерие в светском общении. Пред нами тот же самый Катенин, что во времена муштры и зверского отношения к солдату, берег и уважал своих подчиненных, проявляя истинную человечность.

Персонаж воистину литературный — где-то в русской классике появлялись такие: но они не были выдуманы, и жизнь Катенина тому порукой.

Он писал: «Чем долее живу в отдаленной нашей стоне, тем сильнее удостоверяюсь, что здесь-то именно труд и есть, которого уже плоды красуются на ветвях и

забывают о бедных корнях, роющих землю в темноте. Сельская тишина, мир полей — пустые, бессмысленные слова столичных жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить».

Очень точно.

И тот же самый Катенин в своих кипящих от раздражения письмах обзывает литераторов Николая Греча и Фаддея Булгарина «пигмеями», пишет про то, что Вяземский «избалован», «привык врать» и вообще «дурак», а про Шаховского и Гнедича «один — шут, другой — плут: в двух словах вот их история», злится, что, когда Жуковского и Батюшкова читают на сцене, это: «ей-ей, и смешно, и досадно, а паче всего до смерти стыдно», а про «Бахчисарайский фонтан» Пушкина сообщает, «что такое, и сказать не умею; смысла вовсе нет... стишки сладенькие, водяные».

Впрочем, далеко не всегда Катенин не прав, в письме к Н. И. Бахтину содержится остроумная реакция на поэму «Войнаровский» Рыльева: «Главное лицо — украинец, племянник Мазепы, сосланный после войны в Якутск. Случайно встречается он там с ученым Миллером и рассказывает ему свое похождение, а напоследок умирает; все это копии с разных Бейроновых вещей, в стихах по новому крою; всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном».

Тут русский империалист явил себя во всей красе! Сколько в этих скупых словах ледяной издевки, какое презрение таится в саркастических формулировках: чего стоит одно его «напоследок умирает»; ну и про Катона, конечно же, — это донныне кажется и актуальным, и грустным.

Далее в том же письме Катенин походя разбирает поэму «Наливайко» Рыльева и цедит в своей манере по ее поводу: «...какие-то сорванцы, головорезы, забияки — словом, преразвратный народ. Прибавьте, что к ним-то стараются привлечь сильное участие, любовь и почтение. От этого ложного понятия выходит только, что все они холодны до смерти, слабы, не страшны и ничтожны, а всему виноват Бейрон, суди его Бог».

(Бейрон — это Байрон; странным образом у едкого Лимонова впоследствии будет привычка писать европейские фамилии не так, как принято, а как ему слышится и нравится).

Как хотите, а внутренне хохочешь, читая эти катенинские пассажи: было бы большим удовольствием не скажу дружить с Катениным (как с ним дружить-то!), а выслушивать этого саркастичного типа: в его брюзжании вдруг случаются на удивление здравые наблюдения (по крайней мере, если эти наблюдения не касаются тебя самого). Да и не важно, прав Катенин или нет, сама форма изложения им мыслей по-своему притягательна. Гремучий змей, а не человек.

Но на доброе слово по отношению к нему самому — падок. Ему прислали в деревню начало пушкинского «Онегина», где, напомним, есть в две строки упоминание о Катенине. И Павел Александрович разом забыл, казалось бы, свою язвительность и «любезному Александру Сергеевичу» отписал с теплым вроде бы чувством: «...ты перестал ко мне писать так давно; я сам два года с половиной живу так далеко от всего, что не знаю: ни где ты был, ни что делал, ни что с тобой делали». В этом «что с тобой делали» уже слегка чувствуется катенинская ирония, но слушайте дальше: «...с отменным удовольствием проглотил господина Евгения (как по отчеству?) Онегина».

Разрази нас гром, но это его будто бы вскользь произнесенное: «как по отчеству?», — не укус еще, но мгновенное выказывание жала; с трудом сдержался Катенин, чтоб не уколоть больнее: как же ж ты, милый братец, пишешь целый роман, а отчества у героя нет?!

Пушкин в ответ вовсе не рассердился, сделал вид, что не заметил (все он заметил), но написал: «Послушай, милый, запрись да примись за романтическую трагедию... Ты сделаешь переворот в нашей словесности, а никто более тебя того не достоин».

В довершение образа вспомним вовсе обескураживающий случай.

Мимо имения Катенина однажды проезжал сам государь.

У Катенина была возможность явиться пред его очами, выпросить себе прощение или какое иное послабление.

И что же он делает?

Уезжает в гости к приятелю.

Александр I заехал в Шаево, его камердинер спрашивает: милейший, а где хозяин?

«А хозяин, — говорит управляющий, едва не теряя сознание от ужаса, ...он у соседа гостит. Велите послать за ним?» — «Послать? Разве что послать...»

Неслыханная наглость.

Спустя некоторое время Катенин, поддавшись на уговоры друзей, все-таки черкнет в Петербург прошение: так, мол, и так, был неправ, раскаиваюсь, разрешите вернуться.

И в августе 1825 года Катенин получает разрешение на въезд в столицу.

Мог бы сразу, по старой памяти, угодить в компанию товарищей-декабристов — но нет, ничего подобного.

После провала восстания виднейшие декабристы Никита Муравьев, Пестель, Якушкин, Перовский на допросах называли имя Катенина, как на ранних этапах причастного к их общей деятельности.

Катенин попал в «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ».

Но напротив его фамилии стоит пометка: «Высочайше повелено оставить без внимания».

Новый государь оценил шутку, когда без внимания оставил его батюшка в Шаево?

Полицейская справка 1826 года для III отделения, составленная Фадеем Булгариным, гласит: «...был некогда оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров», «почитался в полку г е н и е м», «гвардейские офицеры превозносили его».

Сто лет спустя Катенин мог бы и уехать на Соловки; впрочем, мог уехать даже и тогда.

Но для таких поперечных персонажей в любые времена могут вдруг сложиться обстоятельства исключительные. Не хорошие — но исключительные.

Следствие посчитало вину Катенина недостаточной для наказания.

3 февраля 1827 года в Петербурге поставили, наконец, «Андромаху», Пушкин писал о ней: «...может быть лучшим произведением нашей Мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому».

Но постановка прошла без успеха; стихи Катенина не публиковали; сборник, составленный им, не прошел цензурные препоны, задумал альманах издавать — ничего не вышло; в общем, в августе 1827 году вернулся к себе в деревню. Где и пробыл до середины 1832-го.

Декабристы тем временем (в Чите) выходили на работу все с той же песней Катенина, про трон, царей и свободу, причем конвойные офицеры и солдаты «слушали ее и маршировали под такт ее».

...а Катенин отрывал репейник от рукава и тихо злился...

И выпивал, кстати, о чем шли толки.

И снова досадовал в письмах на «литературную сволочь».

***Скрылся от них; но в дальнем, диком Египте,
Сидя у берега реки, один и прискорбен,
Жалобы вслух воссылал на муз и на Фива...***
(Элегия, 1828).

Но вместе с тем жить без сволочи не мог, ибо, как в письме Бахтину признавался: «...живейшие мои желания и чувства обращены на один предмет, на приобретение некоторого уважения и похвалы как писатель, при жизни и по смерти».

К тому периоду относится конфликт Катенина с Пушкиным: и остроумный, и показательный для истории всей российской словесности (в том числе в политическом контексте).

27 февраля 1827 года Катенин закончил балладу «Старая быль» — повествование о временах князя Владимира, решившего однажды устроить состязание между оскопленным греком и русским воином-певцом. Грек воспел «царя народов и сердец», оживляющего

мертвых и усмиряющего львов, а русский соревноваться отказался, сказав:

***Певал я о витязях смелых в боях —
Давно их зарыли в могилы;
Певал о любви и о радостных днях —
Теперь не разбудишь Всемилы;
А петь о великих царях и князьях
Ума не достанет, ни силы.***

Помните, как наш друг Катенин, прочитав упоминание своего имени в «Евгении Онегине», обратился с теплым письмом к Пушкину, но едва сдержался, чтоб не ужалить?

Здесь уже не сдержался.

Юрий Тынянов обратил внимание, что в облике русского певца и воина он описал себя (и тут все прозрачно: витязи, о которых он певал, погибли под Бородино и Кульмой, Всемила его умерла накануне войны, а подобострастным чувством к трону Катенин никогда не отличался). А вот под оскопленным греком Катенин имел в виду, увы, Александра Сергеевича.

Причины тому на поверхности.

После неудачи на Сенатской, Пушкин в 1826 году написал «Стансы»: «В надежде славы и добра / Гляжу вперед я без боязни: / Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни...»

Смысл понятен: да, декабристы жестоко пострадали за свой бунт, но русская история знала и похуже времена, это не повод отрицать Отечество как таковое.

Более того, 1828 год Пушкин начал с обращения «Друзьям»: «Нет, я не лстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю: / Я смело чувства выражаю, / Языком сердца говорю».

В апреле Катенин направил Пушкину свою «Старую быль», сопроводив ее посланием «А. С. Пушкину» — внешне весьма льстивым, но на самом деле ядовитым. Согласно посланию, кубок, которым Владимир хотел наградить певцов, долго переходил из рук в руки, был у французов, потом пропал и потом, наконец, оказался... у Пушкина.

***Когда, за скуку в утешенье,
Неугомонною судьбой
Дано мне будет позволение,
Мой друг, увидеться с тобой —
Из кубка, сделай одолжение,
Меня питьем своим напои... —***

медовым голосом просит Катенин и тут же добавляет: лучше б этот кубок испытать сначала на молодых сочинителях: если они не прольют питье за пазуху, то и он решится выпить. Но если прольют, то:

*...Надеждой ослеплен пустою,
Опасным не прельщусь питьем
И, в дело не входя с судьбою,
Останусь лучше при своем.*

Как говорится: пейте сами.

Послание свое и балладу Катенин отправил Пушкину и был крайне удивлен, что Пушкин ему не отвечает.

«Наверное, он меня неправильно понял!» — печалился Катенин.

Все он понял правильно.

Пушкин отдал в альманах «Северные цветы» только балладу, а послание Катенина нет, вместо него поставив свой собственный «Ответ Катенину»:

*Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!*

И продолжает:

*Останься ты в строениях Парнаса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай.*

Да! Александр Сергеевич жалить умел ничуть не хуже, чем Катенин. Ибо в его «остаться ты в строениях Парнаса» содержится жестокая и молодая насмешка над неудачливым, в деревне скисающим Катениным, славным лишь переводами своими, но не стихами; к тому же часто страдающим по причине похмелья, которое в пушкинском послании несло имело смысл далеко не метафорический, а было прямым свидетельством знания о том, что Павел Александрович «действительно злоупотребляют».

Удивительно, что Пушкин не рассердился до такой степени, чтоб и катенинскую балладу тоже убрать в стол.

Обиделся ли на него Катенин в данном случае, уже значения не имеет — по весу и значению на тот момент он с Пушкиным, увы, даже равняться не мог. Так что кому какое дело было до его обид, дворовым девкам разве что. Да и в любом случае — первым начал.

Уже в 1830 году, по предложению Пушкина, Катенин публикует критический цикл «Размышления и разборы» — внимание! — в двадцати номерах «Литературной газеты». («Покамест, кроме тебя, нет у нас критика», — говорил Пушкин ему немногим ранее; и годом позже заметил в одном письме, что из «наших Шлегелей...» — имелся в виду немецкий критик Шлегель — «... один Катенин знает свое дело»).

В «Размышлениях и разборах» отчетливо проявилась, пожалуй, основная черта Катенина: парадоксальным образом он был новатор и архаист одновременно, литературный реакционер и революционер в одном лице.

Но можно лишь предположить, с каким разъедающим все и вся презрением взирал бы Катенин на разнообразное «новейшее искусство», если еще в 30-м году XIX века, он писал, к примеру, такое: «Удел живописи — краски; из них, из обманчивого разлития света и тени, творит она свои чудеса, сближает и отдаляет предметы; на гладкой доске либо холстине представляет необозримую даль или (что еще более) круглость исполненного жизни лица человеческого. Кто вздумает для большего совершенства выставить нос на подпорке вперед, едва ли сочтется даже нынче за смелого гения, развязывающего путы, связывавшие до него робких художников».

Нет, сочтется, Павел Александрович.

В 1832-м Катенин разорился: деревни его взяли под опеку за мухлеж при поставке спирта в казну — обманывать государство, как мы видим, Катенин за грех не считал. Но государство думало иначе.

18 июля 1832 года он явился в Санкт-Петербург, добившись, наконец, издания двух томов стихов и переводов, Пушкин собрание расхвалил и, более того, деятельно участвовал в подписке (друг Пушкина Вяземский был очень недоволен этим новым сближением).

В январе 1833 года Пушкина и Катенина одновременно избрали в Российскую академию наук.

Что ж, какой-никакой результат двадцатилетнего литературного труда наличествует; можно вновь заняться мужским делом, господа офицеры.

8 августа 1833 года Катенин вернулся на воинскую службу, с определением в седьмой Эривановский карабинерный полк в составе Отдельного Кавказского корпуса.

До марта служит в Царском Селе, но оттуда стремился поскорее сбежать, ибо что это за служба — в Царском Селе.

В те времена Катенин, надо сказать, писал о матушке-России примерно так: «Этот инквизиционный дух, эта желтуха...» или «Можно ли сделать что-нибудь сносно в такой несносной неволе...».

Но как поступают говорящие подобное «либералы» (так не совсем верно определяли взгляды Катенина покойный генерал Милорадович и доносчик Фаддей Булгарин) Золотого века?

Верно, едут воевать на Кавказ.

То есть едут воевать куда угодно, а если подвернулся Кавказ, то отчего бы и нет.

10 марта Катенин отправил Пушкину только что вышедшую сказку в стихах «Княжна Милуша», а 13 марта выехал в Тифлис.

10 мая прибыл в урочище Манглис, в пятидесяти

верстах от Тифлиса, в штаб-квартиру полка.

В Дагестане в то время развил активную деятельность Гамзат-бек — проповедник мюридизма, религиозного учения, предполагавшего войну против иноверцев (гяуров), во многом напоминающего будущий ваххабизм. Гамзат-бека поддерживали и нацеливали Англия и Турция.

(Все время приходится ловить себя на мысли, что описываешь то ли прошлое, то ли настоящее, то ли ближайшее будущее).

На 1834 год пришелся рейд Гамзат-бека в Аварию.

Времени у Катенина на то, чтоб обжиться, осмотреться, познакомиться с местными достопримечательностями и тому подобное, не было: едва бросив вещи, по приказу командира Отдельного Кавказского корпуса генерала-адъютанта Розена полковник Катенин во главе отряда выдвинулся на правый фланг Кавказской линии.

Своеобразное «двадцать лет спустя»: последний раз ему приходилось воевать в 1814 году, и тоже весной. И вот 41-летний Катенин снова в деле.

В распоряжении его было два батальона, занявшие передовые позиции.

1-й батальон, минув Пятигорск, вышел на укрепление Баксанское, к проходу Ксанти, 2-й батальон встал на Кисловодской линии: одна рота на Кинжал-горе, другая на Хасауше, третья на Кичмалке, четвертая у горы Кумбаши.

Судя по всему, первый год для Катенина был не самым радостным.

*Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,
Необитаемых, ужасных пустотой,
Где слышен изредка лишь крик орлов несытых,
Клюющих падеру оравую густой;
Цепь пресловутая воспетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!
Без пользы, без красы, с каких ты пор славна?
Творенье божье ты, иль чертова проказа?*
(«Кавказские горы», 1834)

Впрочем, домой он все равно не собирался.

Ввиду Эльбруса, в верховьях рек Малки и Кумы, в мелких стычках с горцами полковник Катенин провел все лето и в конце августа был переведен в Ставрополь (откуда писал Пушкину: «С приезда моего в сей край я в глаза не видел ни одной книги»).

В Ставрополе Катенину пришлось разбираться с одним затянувшимся и слишком разветвленным уголовным делом, что, признаться, было ему не по душе; но приказ есть приказ.

Пушкину сообщает: «Я зябну; представь себе, что

здесь, на юге, лето холоднее северных: в тулупе не согреешься, и надо печки топить... С горя пишу сонеты».

На Кавказском побережье тем временем появился английский разведчик Дэвид Уркварт (для местных — Даут-бей), бывший первый секретарь в стамбульском посольстве, создавший теперь в Стамбуле Черкесский политический центр. Он инициировал договоренности о том, что натухайцы и шапсуги атакуют российские укрепления.

Командующий войсками Кавказской линии и Черноморья генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов, тепло сошедшийся с Катениным, выдвинулся навстречу горцам. Катенин, стремясь, как сам писал, «скорей из скучного города Ставрополя... отправиться на черкесские сабли», надоевшее уголовное дело закрыл и 15 сентября отправился за Кубань нагонять Вельяминова.

29 сентября пишет Бахтину: «Так называемое Ольгинское укрепление расположено на обоих берегах Кубани, на правом комендант (казачий майор, из черкесов), все продовольствия и уголья... там остались мои шесть лошадей и четверо людей, я же с двумя на левом берегу и занимаю собственную Вельяминову комнату, в которой дождь льет как на дворе. Всем мостовом покрытии (надо знать, что моста не бывало, а паром причаливает от вала слишком в 300 шагах в чистом поле находится, кроме меня, до пятидесяти человек гарнизона, охраняющих два бастиона и маленький рavelин, жалкое подобие крепости; в нее въехать можно в карете, имея порядочный спуск; и я не могу подивиться глупости черкесов, не смеющих взять ее в любой день, собравшись в числе хоть двухсот».

15 октября Катенин ушел с тремя батальонами из Ольгинского укрепления непосредственно в район боевых действий к Вельяминову, и там — ба! что за такое! — встретил своего старинного литературного врага, участника декабристского восстания, отправленного в ссылку и испросившего себе разрешение отправиться рядовым на Кавказ Александра Бестужева-Марлинского, теперь прикомандированного к Тенгинскому пехотному полку.

И Катенин его не терпел больше всех своих критиков, и Бестужев досаждал Катенину с какой-то особенной назойливостью. И это ж надо: встретиться именно им в этих горах, столько лет спустя... Что-то в этом есть такое.

Поход был крайне тяжел.

«Мы ходили по дождю, стояли в грязи, стреляли из пушек и ружей очень много», — скупно отчитывается Катенин в письмах.

«Мы дрались за каждую пядь земли... завоеывая дорогу кирками и штыками», — скажет о том походе Бестужев-Марлинский.

Дружбы у Катенина с Бестужевым не сложилось,

но и ссора забылась. Никто из них не понял, что с этой рифмой в судьбе делать, как ее понять, где использовать. Нигде не использовали; и зря. Она бы лучше пригодилась Бестужеву для его кавказских повестей, чем привычка поэтизировать «диких» горцев. Да и Катенин такую поэму мог бы написать!..

...в январе 1836 года Катенин вернулся в Ставрополь. Там простудился, заболел и без походов — захандрил.

Есть сведения, что полковой командир написал на него донос — и Катенина убрали с его должности.

24 июля 1836 года в Москве подписан приказ о назначении Катенина комендантом Кизлярской крепости.

Жил там скромно, на одно свое жалование.

В начале мая 1837 года у Катенина останавливался Лермонтов, ехавший из Ставрополя в Нижегородский драгунский полк. Никаких, увы, подробностей об их встрече не сохранилось. Сошлись характерами, нет?

Отчего-то думаем, что — да. Что-то в них было общее.

Да и как не поговорить о Пушкине, убитом на дуэли? Да и с кем еще о нем говорить? А о Грибоедове?..

Наезжал к Катенину в гости и брат Пушкина — Лев Сергеевич.

...28 ноября 1838 года без предлога и видимого повода генерал-майор Катенин был уволен со службы Высочайшим повелением.

Он прослужил на Кавказе четыре с половиной года — и служил бы дальше, но не судьба.

В романе Писемского есть (судя по всему, тоже со слов Катенина) версия, отчего его выгнали: «Начальник края прислал ему... книгу дневную, чтобы записывать в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества, завтра там — отдыхал от сих мыслей, — таким шутовским манером всю книгу и исписал!..»

История вполне в духе Катенина и похожа на правду. «Жизнь Катенина не была богата событиями», — написал как-то один литературовед.

Жаль, не знаем о жизни этого литературоведа никаких подробностей.

Ибо сложно представить человека с настолько неординарной биографией, которому показалась скучноватой жизнь Катенина. Того самого, что в юности воевал два года подряд, дружил с французскими актерами, вошел в число главных российских литераторов, восхищал и обучал Пушкина и Грибоедова. Это Катенина офицеры Преображенского полка считали гением, это он некоторое время был одним из лидеров будущих декабристов, ухитряясь в литературном журнале намекать на то, что государь причастен к царевубийству, это на него писал доносы Фаддей Булгарин. Это Катенина

государь император личным указом высылал из Петербурга, а потом заезжал к нему в гости — а Катенин нагло прятался у приятеля и надирался там наливки. После чего еще служил на Кавказе, встречался с Бестужевым-Марлинским в боях и с Лермонтовым в ту пору, когда служил комендантом целого городка. Катенин — который вышел в отставку генералом. Это у него была не богатая событиями жизнь?!

И что, много еще таких поэтов? Или генералов, переведивших Корнеля? Много ли вообще в мировой литературе подобных персонажей?

Он прожил в своей деревне еще пятнадцать лет, почти не выезжая — отставной поэт, отставной герой.

Какой философический финал.

Тоже, впрочем, совсем не грустный.

Потому что: винокуренный завод, оранжереи, библиотека; пил более чем неумеренно, о его чудачествах ходили анекдоты: ходил в черкеске, с патронташем на груди, лакеев тоже в черные черкесские чепаны нарядил. Отличный тип, и отличная старость.

Писемский замечательно подметил, что Катенин напоминал «с одной стороны, какого-то умного, ловкого, светского маркиза, а с другой — азиатского князька».

Согласно Писемскому, Катенин, задолго до Василия Розанова, невзлюбил Гоголя, причем из чувств глубоко патриотических. «Уверяют, что «Мертвые души» — поэма, и в ней вся Россия, — ругался Катенин, — в кривляканье какого-то жаргондиста — вся Россия!»

Дело тут вовсе не в тягостном характере Катенина или неумении разглядеть огромное событие в литературе (тогда и Василий Розанов тоже был слепой!), речь о том, что вольнодумец, скептик и гордец Катенин более всего на свете любил Отечество свое. А издевок над ним — не терпел. (Именно поэтому Тьнянов настаивал, что общеизвестная резкость Катенина была «внеличной»: он спорил не из-за себя, дерзить не из тщеславия — его возмущали обиды, наносимые русской словесности, русскому театру, России в целом).

Да, больше у него не было никаких публикаций, имя его забылось, пьесы из репертуаров исчезли. Ну и что теперь? Не одним репертуаром жив человек.

В какой-то день Катенину (да простит нас Павел Александрович за панибратский тон, он и сам был предезерзкий) надо было позабыть про свое умение создавать сонеты, рондо, октавы, терцины (а он умел), выбросить хоть на время из головы Расина и Ферранда, оставить всех этих Аполлонов и Гепирионов и сочинять о том, как у него гуси плавают в пруду, как он ходил в штыковую атаку на французов и что при этом думал, как потом пьянствовал с французскими актерами и не утешался с французскими девками, но избегал

их, как в своей деревне прогорел с поставками спирта, как командовал батальоном у подножия Эльбруса, как, лежа в грязи, перестреливался с горцами, как тосковал в Кизляре и пил горькую с захавшим на денек Лермонтовым; про своего денщика и баб костромских надо было писать.

Однажды он так и сделал, сочинив «Дуру» (1835) про деревенскую девку Ненилу — и вышло чудное стихотворение!

Он был поживший, очень наблюдательный и еще — добрый при всей своей мнительности человек; у него бы получилось. Ведь умел же он и так:

*Хоть мне белый царь сули
Питер и с Москвою,
Да расстаться он вели
С Пашей дорогою,
Мой ответ:
Царь белый! нет;
Питер твой
Перед тобой;
А мне Питера с Москвой
Сердце в Паше
Краше.*

Но такие стихи сочинял Катенин крайне редко, будто в шутку, не осознавая, что двигаться надо — сюда, по этой тропке.

Тем не менее, Тыняновым подмечено, что в области ритмики Катенин подействовал и на Лермонтова, и на Полежаева, и на Некрасова. А через них уже на всю поэтическую традицию, добавим мы, следующего века: от Блока до Бориса Рыжего. В общем, ничего никуда не исчезло в связи с тем, что Катенин пропал без вести в своей костромской глуши.

Ю. Г. Оксман, в свою очередь, заметил про Катенина, что «изысканные античные формы трагедии «Андромаха» и кантаты «Сафо» неожиданно оживают в драматургии Инокентия Анненского и в лирике Вячеслава Иванова».

Еще отличное выражение было у Катенина — «опыт беды».

У него он имелся; и опытом этим Катенин не кичился никогда.

Лучшая его вещь, конечно же, написанный на Кавказе в 1835 году «Инвалид Горев» (опубликованный годом позже — и это станет последней прижизненной журнальной публикацией Катенина): о простом русском мужике, который если и печалился о чем в своей судьбе, так это о том, чтоб никогда не проявить слабость перед врагом: а то «русское имя втянут в поклеп».

Катенина можно в чем-то обвинять (хотя в чем?)

кроме трудного характера — не в чем; тем более что зачастую трудный характер не вина, а достоинство), но русское имя свое он пронес безупречно.

Как поэт в «Инвалиде Гореве» Катенин разом стал огромен, и это вовсе не случайно, потому что — весьма прозорливый тип — он еще тогда заметил, что российскому романтизму не сложиться в полной мере, потому что русская старина «отнюдь не романтическая», мы не в европах пребываем.

Катенин увидел, что разделение поэзии на «классическую и романтическую» — вздор, выказывая предпочтение поэзии «отечественной, народной», оттого что «свое ближе чужого».

Блестящий знаток европейской культуры, он объяснил, что в русскую поэзию надо тащить все то, что иные чудаки будут истово ненавидеть даже двести лет спустя — все эти березки, осинки, портянки. Сам, правда, этого в полной мере не выказал, но зато объяснил тем, кто слышал и понимал.

Это все из его Шаево, из его медвежьего угла — там понабрался; стоял на своем всю жизнь и позиций не сдал: ни военных, ни литературных.

Пушкин отмечал «гордую независимость» Катенина.

Он действительно был по-настоящему свободный человек; и никогда не видел военную службу помехой своей свободе.

9 мая 1853 года Катенина сбили лошади. Две недели, упрямо и без жалоб он отвоевывал свою жизнь, отказываясь от исповеди и причастия, но на этот раз проиграл. Только на этот.

На памятнике Катенина выбита его собственная эпитафия: «Павел, сын Александров, из роду Катениных, честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадил. Зла не творил никому, и мене добра, чем хотелось».

Звучит восхитительно. ■